

*Артур Шопенгауэр*  
(1788 – 1860)

# Оазис в пустыне жизни

139

ОДИНОЧЕСТВО есть жребий всех выдающихся умов.

Кто не любит одиночества – тот не любит свободы, ибо лишь в одиночестве можно быть свободным.

Человеку, стоящему высоко в умственном отношении, одиночество доставляет двоякую выгоду: во-первых, быть с самим собою и, во-вторых, не быть с другими.

В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле.

Человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его «Я».

Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стремится его использовать.

Скука неизбежна лишь для тех, кто не знал других удовольствий, кроме чувственных и общественных, не позаботившись об обогащении своего ума и развитии своих сил.

Внутренняя пустота служит истинным источником скуки, вечно толкая субъекта в погоню за внешними возбуждениями с целью хоть чем-нибудь расшевелить ум и душу.

Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими острыми иглами.

Чем больше человек имеет в себе, тем меньше требуется ему извне, тем меньше могут дать ему другие люди.

Обыденный человек, напротив, чтобы сделать свою жизнь приятной, должен ограничиваться внешними для него вещами – имуществом, чином, женою и детьми, друзьями, обществом и т. д., и в них предполагает он своё счастье; поэтому оно кончается, когда он утрачивает эти блага или видит, что обманулся в них. Для характеристики такого положения можно сказать, что центр тяжести у подобного человека находится вне его.

Только гений избирает своим предметом бытие и сущность вещей в их общей и абсолютной форме, стремясь затем выразить свою глубокую концепцию в искусстве, поэзии или философии сообразно своей индивидуальной склонности. Поэтому только он чувствует настоящую потребность беспрепятственно заниматься собою, своими мыслями и произведениями, только он желает одиночества, полагает своё высшее благо в досуге, легко обходясь без всего остального, даже часто находя в нём одну только тягость. Лишь о подобных людях можем мы поэтому сказать, что их центр тяжести лежит всецело в них самих.

Человек с богатым внутренним миром, находясь в совершенном одиночестве, получает превосходное развлечение в своих собственных мыслях и фантазиях, тогда как тупицу не оградит от убийственной скуки даже постоянная смена компаний, зрелищ, прогулок и увеселений.

Ещё несчастнее будет тот, в ком решительное преобладание имеют интеллектуальные силы и кто в то же время должен оставлять их без развития и употребления, для того чтобы заниматься обыденными делами, где они не нужны.

«Досуг без книги это – смерть и погребение заживо (Сенека, “Послания”)». И вот, в зависимости от того, насколько этот излишек мал или велик, существуют бесчисленные степени такой интеллектуальной жизни, проходящей наряду с реальной, начиная с простого собирания и описания насекомых, птиц, минералов, монет – и вплоть до высшего творчества поэзии и философии. Эта интеллектуальная жизнь ограждает не только против скуки, но и против губительных последствий её. Именно она становится предохранительным средством против дурного общества и против многочисленных опасностей, несчастий, потерь и расточительности, которым подвергается человек, если он ищет счастья в реальном мире.

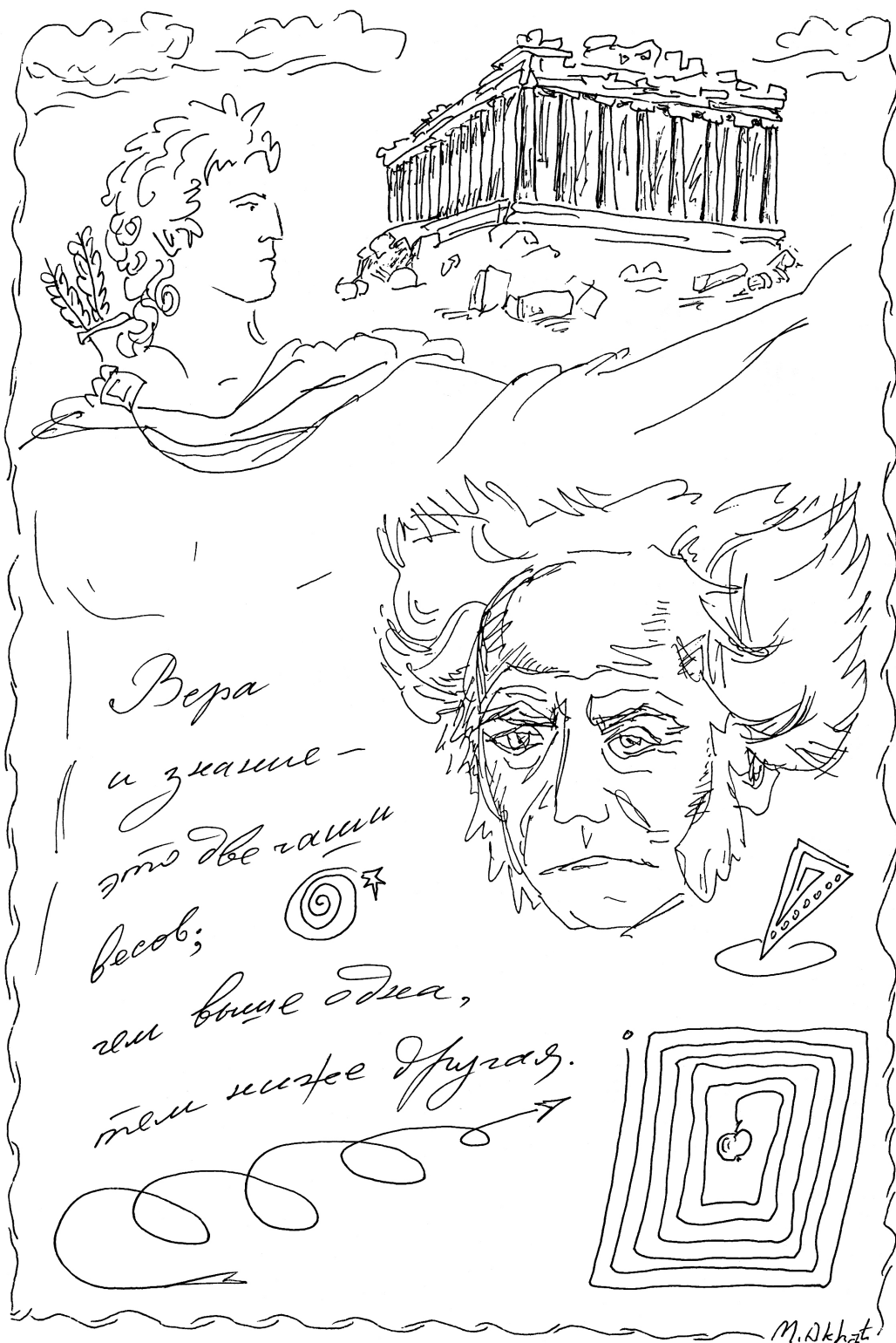
Аристотель: «Подлинное счастье состоит в возможности беспрепятственного применения наших способностей, в чём бы они ни заключались».

Обладание досугом несвойственно не только обыкновенной судьбе, но и чуждо натуре обыкновенного человека.

Всякий сброд до жалости общителен.

Всякий замкнут в своём сознании, как в своей коже, и только в нём живёт непосредственно.

Выказывать свой ум и разум – это значит косвенным образом подчёркивать неспособность и тупоумие других.



Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности.

Талант достигает цели, которую никто не может достичь; гений – ту цель, которую никто не может увидеть.

Вера и знание – это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая.

Человек, одарённый духовными силами высшего порядка, преследует задачи, которые не вяжутся с заработком.

Богатство подобно морской воде, чем больше её пьёшь, тем сильнее жажда.

142

Отличие между человеком и животным выражается в разном отношении головы к туловищу. У низших животных они ещё совсем сросшиеся: голова у всех обращена к земле; даже у высших животных голова и туловище в гораздо большей степени представляют собой одно целое, чем у человека, голова которого свободно поставлена на тело... Высшую степень этого человеческого преимущества выражает Аполлон Бельведерский: голова бога муз, взирающего вдаль, так свободно высится на плечах, что кажется вполне отрешённой от тела и уже не подвластной заботе о нём.

Животные обладают рассудком, не имея разума, – следовательно, у них есть только *наглядное*, а не отвлечённое познание, [...] они не *мыслят* в собственном смысле этого слова. Ибо им не достаёт *понятий*, то есть абстрактных представлений.

Между животным и внешним миром не стоит ничего – между нами и этим миром всегда стоят и наши мысли о нём, и часто делают они нас для него, его для нас – недоступными. Только у детей и очень некультурных людей эта промежуточная стена становится иногда чрезвычайно тонкой... Вот почему животные не способны ни на умысел, ни на притворство; у них нет ничего потайного.

Животные обладают только *непосредственным* познанием – у нас же, наряду с ним, есть ещё и *косвенное*.

Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком.

Человек, в сущности, дикое, страшное животное. Мы знаем его лишь в состоянии укрощённости, называемой цивилизацией, поэтому и пугают нас случайные выпады его природы.

Пока длится чистая эстетическая радость, исчезает наша личность, наше желание с его постоянной мукой; вот почему и сказал Гёте: «Кто видит человеческую красоту, того не может коснуться ничего дурное: он чувствует себя в гармонии с самим собой и с миром».

Солнце является одновременно источником *света*, условия для самого совершенного рода познания, [...] и источником *тепла*, первого условия жизни, то есть всякого проявления воли.

Что для воли тепло, то для познания свет. Оттого свет – величайший алмаз в короне красоты, и он имеет самое решительное влияние на познание каждой прекрасной вещи: его присутствие вообще служит неперенным условием; его удачное распределение усиливает красоту самого прекрасного.

Создания архитектуры в противоположность произведений других искусств очень редко возводятся для чисто эстетических целей, напротив, последние подчиняются другим, чуждым искусству, утилитарным идеям. Именно в том и состоит великая заслуга художника-архитектора, чтобы всё-таки провести и осуществить чисто эстетические замыслы, несмотря на их зависимость от посторонних соображений.

В скульптуре красота и грация всегда играют главную роль. Истинный характер духа, выступающий в аффекте, страсти, взаимной игре познавания и желания, изобразимой только выражением лица и жестикуляцией, является преимущественной особенностью *живописи*.

Лицо человека высказывает больше и более интересные вещи, нежели его уста: уста высказывают только мысль человека, лицо – мысль природы.

Красота есть открытое рекомендательное письмо, которое заранее склоняет людей в нашу пользу.

Так как красота вместе с грацией составляет главный предмет скульптуры, то последняя любит наготу и допускает одежды лишь постольку, поскольку они не скрывают форм.

Да будет мне позволено вставить здесь сравнение, относящееся к словесному искусству. Подобно тому, как прекрасные очертания тела лучше всего обнаруживаются при самой лёгкой одежде или совсем без неё, [...] так и всякий прекрасный, богатый мыслями дух будет всегда выражаться самым естественным, бесхитростным, простым образом... Наоборот, духовная нищета, путанность и манерность будут облекаться в самые изысканные выражения и туманные слова, чтобы скрыть под этими тяжеловесными и напыщенными фразами мелкие, ничтожные, жалкие или пошлые мысли, подобно человеку, который хочет возместить себе одеждой отсутствующее величие красоты и старается замаскировать тщедушность или безобразие своей фигуры варварскими украшениями, мишурой, перьями и мантиями. И подобно тому, как смутился бы такой человек, если бы ему пришлось выйти нагим, так смущён был бы и иной автор, если бы его заставили свести его пышную туманную книгу к её малому ясному содержанию.

Искусство жанровых картин фиксирует моменты мимолётной жизни.

*Историческая живопись* наряду с красотой и грацией имеет главным предметом ещё и характер; [...] где индивид обладает самобытной значительностью и выражает её не только своей фигурой, но и всякого рода действиями, ... отражаясь в лице и жестах.

...Я повсюду говорю исключительно о редких, великих, настоящих поэтах и меньше всего имею в виду [...] жалкое племя посредственных поэтов, рифмачей, которые расплодилось особенно теперь.

Стоит серьёзно поразмышлять о том, какую массу собственного и чужого времени губит этот рой посредственных поэтов и как вредно их влияние: ведь публика, с одной стороны, всегда падка на новинки, а с другой стороны, даже от природы питает больше склонности к превратному и плоскому, которое ей более сродни, – вот почему произведения этих посредственностей отвлекает её от настоящих шедевров, мешают воздействию на неё и, противодействуя благородному влиянию гениев, всё более портят её вкус и задерживают прогресс эпохи. Вот отчего критика и сатира должны беспощадно бичевать этих посредственных поэтов, пока, для их же собственного блага, не заставят их употребить свой досуг скорее на чтение хорошего, чем на писание дурного.

...Поэт вообще – это всечеловек: всё, что только волновало когда-нибудь сердце человека и что в разные моменты воссоздаёт из себя природа человеческого духа, всё, что живёт и зреет в человеческой груди, всё это – его сюжет, его материал, а кроме того – и вся остальная природа. Вот отчего поэт может одинаково воспевать и сладострастие, и мистику, быть Анакреоном или Ангелусом Силезиусом, писать трагедии или комедии, изображать возвышенное или низменное в зависимости от своего настроения или призвания. Поэтому никто не имеет права указывать поэту быть благородным или возвышенным, нравственным, благочестивым, христианином, быть тем или другим, а ещё меньше – упрекать его за то, что он таков, а не иной. Поэт – зеркало человечества, и он доводит до сознания человечества то, что оно чувствует и делает.

Какой прекрасной аллегорией выражает Клейст ту мысль, что философы и учёные просвещают человеческий род: *«Те, чья ночная лампада весь шар озаряет земной!»*

Кто хочет познать человечество [...], тому произведения великих, бессмертных поэтов раскроют картину гораздо более верную и отчётливую, чем это в состоянии сделать историки, потому что даже лучшие из них далеко не выдаются как поэты, и руки у них притом связаны.

Поэт может глубоко и основательно знать человека, но очень плохо людей: его легко обмануть, и он становится игрушкой в руках хитреца.

...Поэт должен не только выводить перед нами правдиво и верно, словно сама природа, значительные характеры, но и, чтобы они стали нам понятными, ставить их в такие ситуации, где их особенности получили бы полное развитие, и они приняли бы отчётливые, резкие очертания, отчего такие ситуации и называются значительными. В действительной жизни и в истории случай лишь изредка создаёт положения такого рода, и там они единичны, затеряны и скрыты в массе незначительного. Значительность всех ситуаций должна так же отличать роман, эпос, драму от действительной жизни, как и сопоставление и выбор значительных характеров; [...] неправдоподобие событий, хотя бы даже в деталях, так же оскорбляют... как неверный рисунок, фальшивая перспектива или неправильное освещение в живописи: ибо как там, так и здесь мы требуем верного зеркала жизни.

Жизнь человека подобна воде в пруду или реке, как она большей частью происходит в действительности; в эпосе же, романе и трагедии избранные характеры ставятся в такие условия, при которых развиваются все их особенности, раскрываются глубины человеческого духа, проявляясь в необычных и знаменательных действиях.

Вершиной поэзии, как по силе впечатления, так и по трудности осуществления, надо считать трагедию. [...] Целью трагедии является изображение страшной стороны жизни, – здесь показывают нам несказанное горе, скорбь человечества, торжество злобы, насмешливое господство случая и неотвратимую гибель праведного и невинного.

...Требование так называемой поэтической справедливости основано на совершенном непонимании существа трагедии и даже существа мира. Во всей своей банальности оно резко выступает в той критике, которой доктор Самуил Джонсон подверг отдельные пьесы Шекспира; в ней он весьма наивно жалуется на сплошное пренебрежение этим требованиям, что, разумеется, имеет место, – ибо чем провинились Офелии, Дездемоны, Корделии?

*Ведь худшая в мире вина –  
Это на свет родиться, –*

как это прямо говорит Кальдерон.

То наслаждение, которое даёт нам *трагедия*, зиждется не на чувстве прекрасного, а на чувстве возвышенного, и даже представляет собою высшую степень последнего.

Поэзия носит на себе отпечаток юности, а философия – старости. И на самом деле, поэтический дар цветёт, собственно, только в молодые годы; да и восприимчивость к поэзии у молодого человека нередко принимает характер страсти: юноше доставляют наслаждение стихи как таковые, и часто довольствуется он малым. С годами эта склонность слабеет, и старость предпочитает прозу.

Лучший из поэтов сознаёт себя таким потому, что он видит, как поверхностны взгляды других, как много ещё остаётся такого, чего они, эти другие, не в состоянии были передать, ибо они этого не видели, и насколько глубже проникает его взор, его образ. Если бы он, великий, так же не понимал плоских поэтов, как они не понимают его, он должен был бы прийти в отчаяние: ведь уже для того одного, чтобы воздать ему должное, необходим выдающийся человек, а дурные поэты столь же не могут ценить его, как он не может ценить их; следовательно, и он тоже вынужден долго питаться собственным одобрением, – покуда не явится одобрение мира. Ему отравляют и его личную самооценку, внушая, что он должен быть скромнее. Но человеку, имеющему заслуги и знающему, чего они стоят, так же невозможно самому быть слепым по отношению к ним, как невозможно человеку шести футов росту не замечать, что он выше других. [...] Гораций, Лукреций, Овидий и почти все древние поэты с гордостью говорили о себе: точно так же и Данте, Шекспир, Бэкон Веруламский и многие другие.

Размер и рифма – это оковы, но в то же время и покров, который набрасывает на себя поэт и из-под которого он позволяет себе говорить то, чего иначе не посмел бы сказать: именно это и доставляет нам наслаждение.

Если бы мы могли заглянуть в секретную мастерскую поэтов, то мы в десять раз чаще нашли бы, что мысль приискивается к рифме, чем рифма к мысли; да и в последнем случае дело нелегко обходится без некоторых уступок со стороны мысли.



Даже тривиальные мысли получают, благодаря ритму и рифме, некоторый оттенок значительности и щеголяют в этом украшении, подобно тому, как заурядные лица наряженных девушек привлекают к себе чужие взоры.

Прославленные цитаты прославленных поэтов бледнеют и мельчают, если точно передать их в прозе. Если прекрасно только истинное и если лучшее украшение истины – нагота, то мысль, которая величественна и прекрасна в прозе, будет иметь больше истинной ценности, чем мысль, которая производит такое впечатление только в стихах.

В смысле познания сущности человечества я склонен даже приписывать больше значения биографиям, особенно автобиографиям, чем собственно истории.

146

Несправедливо думать, будто автобиографии исполнены лжи и притворства. Напротив, ложь (возможная, впрочем, везде) там, быть может, труднее, чем где бы то ни было. Притворяться легче всего в простой беседе; [...] притворство труднее в письме, потому что здесь человек, представленный самому себе, смотрит в себя, а не наружу. [...] И автора легче всего можно узнать как человека из его книги, [...] притворяться в автобиографии так трудно, что, быть может, нет ни одной из них, которая в целом не была бы правдивее всякой другой написанной истории.

Юноша [...] способен только на лирическую поэзию, и лишь зрелый муж способен к драме.

Одно искусство всё-таки не вошло в наше исследование, так как в систематической связи нашего изложения для него не оказалось подходящего места: это – музыка. Она стоит особняком от всех других. Мы не видим в ней подражания, воспроизведение какой-либо идеи существ нашего мира; и тем не менее она представляет собой великое и прекрасное искусство, так сильно влияет на душу человека и так сильно и глубоко понимается им в качестве всеобщего языка, который своею внятностью превосходит даже язык наглядного мира.

Музыка – это язык чувства и страсти, подобно тому, как слова – это язык разума: уже Платон определяет её как «движение мелодий, подражающее волнениям души», и Аристотель говорит: «Почему ритмы и мелодии, будучи простыми звуками, оказываются похожими на душевные состояния?»

Композитор раскрывает внутреннюю сущность мира [...] на языке, которого его разум не понимает; подобно тому, как сомнамбула в состоянии магнетизма даёт откровения о вещах, о которых она наяву не имеет никакого понятия. Вот почему в композиторе больше, чем в каком-нибудь художнике, человек совершенно отделён и отличен от художника.

Наслаждение всем прекрасным, утешение, доставляемое искусством, энтузиазм художника, позволяющий ему забывать жизненные тяготы, – это преимущество гения перед другими, которое вознаграждает его за страдание, возрастающее в той мере, в какой светлеет сознание, и за одиночество в пустыне чуждого ему поколения.

Всякий индивидуум считает себя вполне свободным в своих действиях и думает, что может каждую минуту начать новый образ жизни и сделаться другим, но по опыту он находит, к своему удивлению, что он не свободен, а подчинён необходимости, что несмотря на все планы и размышления, он не изменяет своих



действий и вынужден с начала и до конца своей жизни проводить тот же, самым осуждаемый характер, как бы продолжая разыгрывать принятую на себя роль.

Воля человеческая направлена к той же цели, как у животных, – к питанию и размножению. Но посмотрите, какой сложный и искусный аппарат дан человеку для достижения этой цели – сколько ума, размышления и тонких отвлечённостей употребляет человек даже в делах обыденной жизни! Тем не менее, и человеком, и животным преследуется одна и та же цель. Для большей ясности: вино, налитое в глиняный сосуд, и искусно сделанный кубок остаётся одним и тем же...

То явное противоречие – называть волю свободной и, тем не менее, предписывать ей законы, по которым она должна желать: «должна желать!» – деревянное железо! Но согласно всему нашему воззрению, воля не только свободна, но и всемогуща...

За волей к жизни обеспечена жизнь, и пока мы проникнуты волей к жизни, нам нечего бояться за своё существование – даже при виде смерти.

Воля совершенно чужда конечной границе и цели, потому что единственная её сущность – в стремлении, которому не полагает конца ни одна достигнутая цель, которое поэтому не знает окончательного удовлетворения.

Но в то же время воля представляет такое *самоутверждение* собственного тела в бесчисленных рядах индивидуумов, она, в силу присущего всем эгоизма, очень легко переходит в известном индивидууме за пределы этого утверждения, – вплоть до отрицания той же самой воли, проявляющейся в другом индивидууме. Воля первого вторгается в область чужого утверждения воли... Это вторжение в сферу чужого утверждения воли вполне сознавалось уже спокон веков, и его понятие нашло себе выражение в слове *несправедливость*.

Что касается *совершения* несправедливости вообще, то оно осуществляется либо *насилием*, либо *хитростью*: по своему нравственному значению это одно и то же. [...] Все разнообразные случаи несправедливости могут быть сведены к тому, что я, совершая несправедливое, заставляю чужой индивидуум служить не своей, а моей воле.

Но самый настоящий обман, это – *нарушение договоров*.

Я могу, *не совершая несправедливости*, *принудить* чужую волю, отрицающую мою волю, [...] *принудить* отказаться от этого отрицания, то есть я имею в данных границах *право принуждения*.

Во всех случаях, где я имею право принуждения, я имею полное право употреблять против других *насилие*.

...Моральное право [...] так же лежит в основе каждого правомерного законодательства, как чистая математика лежит в основе каждой из своих прикладных отраслей. [...] Лишь тогда установленное законодательство является собственно *положительным правом*, а государство – *правомерным союзом*, *государством* в подлинном смысле слова, морально допустимым, не аморальным учреждением.

В той степени, в какой усиливается отчётливость познания и возвышается сознание, – возрастает и мука... Тот, в ком живёт гений, страдает больше всех. При-

вою здесь знаменитое изречение Когелета: «Кто умножает познания – умножает и скорбь».

Всегда и повсюду истинной эмблемой природы является круг, потому что он – самая общая форма в природе, начиная от движения созвездий и кончая смертью и возникновением органических существ...

Смерть – это временный конец временного явления.

Эстетическими лекциями или проповедями так же невозможно создать добродетельного человека, как все эстетики, начиная с аристотелевской, никогда не могли породить поэта.

148

Всякая любовь – сострадание.

Тот, кто ещё может плакать, непременно способен и на любовь, то есть на сострадание к другим.

Любовь есть неудержимый инстинкт, могучее стихийное влечение к продолжению рода. Влюблённый не имеет себе равного по безумию в идеализации любимого существа, а между тем всё это «военная хитрость» гения рода, в руках которого любящий является слепым орудием, игрушкой. Привлекательность одного существа в глазах другого имеет в основе своей благоприятные данные для произведения на свет хорошего потомства. Когда природой эта цель достигнута, иллюзия мгновенно рассеивается.

Ибо всякая влюблённость [...] в строжайшем смысле слова индивидуализированный половой инстинкт. И вот, если твёрдо помня это, мы подумаем о той важной роли, которую половая любовь играет не только в пьесах и романах, но и в действительности, где она после любви к жизни является самой могучей и деятельной из всех пружин бытия, где она поглощает половину сил и мыслей молодого человечества, [...] ежечасно прерывает самые серьёзные занятия, иногда смущает самые великие умы, не стесняется непрощенной гостьей проникать со своим хламом в совещания государственных мужей и в исследования учёных, [...] ежедневно поощряет самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы, требует себе в жертву то жизни и здоровья, то богатства, [...] делает предателем верного и в общем выступает как некий враждебный демон, который старается всё перевернуть и запутать, ниспровергнуть, – если мы подумаем об этом, то невольно захочется воскликнуть: к чему весь этот шум? к чему вся суeta и волнения, все эти страхи и горести? Но перед серьёзным исследователем дух истины мало-помалу разгадывает загадку: [...] то, к чему ведут любовные дела, это ни более, ни менее, как *создание следующего поколения*.

В особенности пленяет женщину сила воли, решительность и мужество. Напротив того, интеллектуальные преимущества не имеют над нею инстинктивной и непосредственной власти... Ограниченность не вредит успеху у женщин; скорее помешают здесь выдающиеся умные силы и даже гениальность, как явление ненормальное. Вот почему некрасивый, глупый и грубый мужчина нередко затмевает в глазах женщины человека образованного, даровитого и достойного. [...] Объясняется это тем, что преобладающую роль играют здесь вовсе не интеллектуальные, а совершенно другие побуждения – именно побуждения инстинкта.

Брак заключается не ради остроумных собеседований, а для рождения детей. Это – союз сердец, а не умов.

Настоящее не удовлетворяет нас, а будущее ненадёжно, прошедшее невосвратно.

Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг.

Проповедовать мораль легко, обосновать её трудно.

Самая дешёвая гордость – это гордость национальная. [...] Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего подметит её недостатки. Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит; он готов с чувством умиления защищать все её недостатки и глупости.

Нет более прекрасного утешения для старца, чем видеть всю мощь своей молодости, воплощённой в трудах, которые не состарятся подобно ему.

Час ребёнка длиннее, чем день старика.

С точки зрения молодости жизнь есть бесконечно долгое будущее; с точки зрения старости – очень короткое прошлое.

Ценность и величие философии заключается в том, что она отвергает всякие допущения, которых нельзя доказать.

